

УДК 821.133.1+821.112.2  
ББК 84(4Фра)+84(4Гем)  
М82

**Москва** Сталинская. — Москва : Алгоритм, 2015. — 256 с. —  
М82 (Приключения иностранца в России).  
В кн. : Возвращение в СССР : [пер. с фр.] / Андре Жид. Москва  
1937 : [пер. с нем.] / Лион Фейхтвангер.

ISBN 978-5-906789-28-0

В издание включены две нашумевшие в свое время книги известных западных писателей: А. Жид «Возвращение в СССР», изданная в 1936 году и переведенная лишь в 1989-м, и знаменитая книга Л. Фейхтвангера «Москва 1937». Сопоставление этих полемизирующих друг с другом работ представляет особый интерес: это свидетельства авторитетных и талантливых людей, их впечатления о событиях трудного и противоречивого периода жизни нашей страны.

УДК 821.133.1+821.112.2  
ББК 84(4Фра)+84(4Гем)

ISBN 978-5-906789-28-0

© ООО «ТД Алгоритм», 2015

Литературно-художественное издание  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦА В РОССИИ

**МОСКВА СТАЛИНСКАЯ**

**Андре Жид  
Лион Фейхтвангер**

Редактор *Е.О. Мигунова*  
Художник *Б.Б. Протопопов*

ООО «Издательство «Алгоритм»  
Оптовая торговля:  
ТД «Алгоритм» 617-0825, 617-0952  
Сайт: <http://www.algoritm-kniga.ru>  
Электронная почта: [algoritm-kniga@mail.ru](mailto:algoritm-kniga@mail.ru)  
Интернет-магазин: <http://www.politkniga.ru>

Өндірген мемлекет: Ресей  
Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 19.02.2015.  
Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,44.  
Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-906789-28-0



9 785906 789280 >



*Андре Жид*



## СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА

*1929 год*

Любовь к истине — не потребность в достоверности, и крайне неосторожно смешивать одно с другим.

Истину любишь тем больше, чем яснее сознаешь, что никогда не достигнешь абсолютного, хотя на поиски его толкает нас истина неполноценная.

Сколько раз мне приходилось замечать, что религиозные люди, в особенности католики, тем слабее тянутся к этой глупой (однако единственно доступной) истине, чем сильнее они убеждены в обладании истиной высшей, подчинившей себе осязаемый мир и наше о нем представление. Да и понятно: тот не производит наблюдений над молнией, кто верит, что она послана богом, тот не следит ни за прорастанием зерна, ни за метаморфозами насекомого, кто во всех явлениях природы видит только непрерывное чудо и слепое подчинение вечному вмешательству божества.

Скептицизм — отправная точка науки; против него и восстает вера.

Я знавал человека, который погружался в черную меланхолию при одной мысли, что должен время от времени менять ботинки, одежду, шляпу, белье, галстук. Дело здесь совсем не в скупости, но в муке не видеть ничего прочного, определенного, абсолютного, на что можно было бы опереться.

Перечел «Orientales» Гюго. Вновь испытываешь то же восхищение, что и в детстве; достаточно мне один раз

их перечесть, чтобы знать наизусть. Какая поразительная, чисто ораторская изобретательность! Здесь все: сила и изящество, улыбка и пафос рыданий. Что за богатство приемов! Как высок поэтический подъем! Какое знание стиха, как свободно он им владеет! Такая мастерская легкость дается только при полной завороченности словом и его звучанием. Мысль у него подчинена слову, фразе, образу; вот почему Гюго (совсем не такой протест, каким его выставляют) всегда предпочитал чувства и мысли наиболее пошлые, совершенно не заслуживавшие его внимания, — чтобы отдаться все существом своим наслаждению их поведать, плодить и размножать.

С обычной для него отменной учтивостью С. посылает мне два кусочка амбры, содержащих еле видимых насекомых, и небольшую статью Мориса Трэмбли (по поводу открытия им пресноводных полипов). Меня восхищает эта брошюра. Списываю: «Он знает, когда сомнение ему выгодно и необходимо, и умеет вовремя усомниться в собственных выводах. Он всегда стремится видеть вещи такими, каковы они в действительности, а не такими, какими он желал бы их видеть». И добавляет: «В этом смысле Реомюр (ибо здесь речь идет именно о нем) оказал большую услугу науке, чем Бюффон».

Совершенно случайно и не помышляя об астрологии, я открыл, что как раз 21 ноября — в день моего рождения — земля переходит из знака Скорпиона в знак Стрельца.

Так моя ли вина в том, что по воле вашего же бога я родился между двух созвездий — плод смешения двух рас, двух стран, двух исповеданий?

Когда мы ощущаем в себе страшную силу и порывистость желаний, то относим ее не к самому себе, а к предмету наших желаний, который благодаря ей и влечет нас к себе. И тогда он влечет нас уже неотразимо до такой сте-

пени, что мы уже отказываемся понимать, почему другой человек одаряет такой же неотразимостью другую группу объектов, к которой его влечет с той же силой и порывистостью желаний. Кто с самого начала в этом не убедится, пусть лучше помолчит, когда речь пойдет о половом вопросе. Если вопрос заранее возникает в форме ответа, можно прямо сказать, что его и не ставили. И думается мне, причина мистического обожания кроется в том, что чары божества (именуемые у мистиков атрибутами), по самому своему существу требующие поклонения ему, в действительности являются проекцией их собственного рвения.

Читаю «Крепкий ветер» Ричарда Хьюза. Странная книга: будь я в состоянии крепче связать ее с личностью автора и понять, чем вызвана потребность ее написать, она, несомненно, привела бы меня в восторг. А вдруг это только игра, необыкновенно ловко задуманная, в которой автор остается победителем, однако, не завоевав моего сердца. Всякая книга занимает меня лишь в том случае, если я в самом деле почувствую, что она родилась из настоящей потребности, и если эта потребность разбудит во мне ответное эхо. Теперь многие авторы пишут неплохие книги, но они с тем же успехом могли бы написать и другие. Я не ощущаю незримой связи между ними и их творениями, да и сами они меня нисколько не интересуют; они навсегда останутся литераторами, они прислушиваются не к своему демону (у них его и нет), а к вкусам публики. Они приоравливаются к тому, что есть, и это их ничуть не стесняет — ведь они не чувствуют, что стесняют других.

*1930 год*

Я верю, что их мир — мир воображаемый, но иначе, чем лучшим, представить себе не могу.

Иначе говоря: их мир (мир благодати и т. д.) был бы лучшим, если бы не был только воображаемым.

Люди сами убеждают себя во всем и верят — кто во что горазд. А потом свои умозрительные построения называют высшей правдой. Так как же она может быть иной, если верят в нее, как в высшую правду? Да и в какую другую, как не в высшую правду, можно верить?

А вдруг «бесценная жемчужина», ради которой человек лишает себя всех благ, окажется фальшивой?..

Не все ли равно, раз он сам того не знает?

«Проблемы», волновавшие человечество, не разрешив которых, казалось, невозможно жить, постепенно теряют прежний интерес, и не потому, что решение найдено, а потому, что жизнь отходит от них. Стоит им потерять злободневность, и они умирают, совершенно незаметно, без агонии, просто — отмирают.

Возрожденный томизм и статьи Маритэна будут иметь лишь историческую ценность; сомневаюсь, что кто другой, кроме археолога, ими заинтересуется.

Ясно: С. любит в Ницше его агонию. Исцелись Ницше — он отвернулся бы он него. Как он носился со мной, считая меня удрученным страдальцем, надеясь сыграть заманчивую роль утешителя! Он ластился ко мне, как кошка.

Однажды, сидя вечером у Р., мы остолбенели, услышав его заявление, что он может быть дружен только с женщинами. Конечно, в этом признании немало гордости: он любит копаться, жалеть и соболезновать. Все бы шло хорошо, если бы в нем была сильна потребность доставлять счастье, Но суть в ином: любит он самое горе, скорбь, и в этом усматривает долг христианина. В счастье он видит разодухотворение; вот почему он чисто интуитивно отстраняется от Моцарта. Бесплотность изумительного искусства Моцарта, глубочайшую его проникновенность, господство разума над страданием и радостью, уничтожающее всякую болезненность страдания (то, что С. счел

бы искупительной добродетелью), для Моцарта являющегося лишь темно-фиолетовой полосой радуги, нарисованной его гением, он воспринимает лишь постольку, поскольку она его не стесняет.

Перечел «Глазами Запада» в превосходном переводе Нееля. Мастерски написанная книга; но в ней слишком чувствуется напряженная работа; избыток добросовестности Конрада (если можно так выразиться) — в длиннотах описаний. Чувствуешь, как где-то, в глубине книги, скользит увертливая ирония, но хочется, чтобы она была еще легче и забавнее. Конрад словно отдыхает на ней и снова становится растянутым и многословным. В общем, книга необыкновенно удачна, но в ней не хватает непринужденности. Не знаешь, чем восхищаться: искусством сюжета, композицией, смелостью столь широкого замысла, спокойствием изложения или остроумием развязки. Но читатель, закрыв книгу, невольно скажет автору: «Теперь недурно и отдохнуть».

Сильно заинтересован открытым мною родством «Глазами Запада» с «Лордом Джимом». (Жалею, что не поговорил об этом с Конрадом.) Герой совершает непоследовательность и, чтобы выкупить ее, закладывает свою жизнь. Ибо как раз непоследовательности имеют в жизни наибольшие последствия. «Но разве можно это уничтожить?» Во всей нашей литературе не найти патетичней романа; романа, который в такой степени ниспровергал бы правило Буало, что «герой должен проходить через всю драму или роман таким, каким он был вначале».

Пагубное, плачевное влияние Барреса. Нет более злочастливого воспитателя, чем он, и все, на чем лежит печать его влияния, — при смерти или уже смердит. Достоинства его как художника чудовищно раздуты. Разве не находишь уже в Шатобриане все его лучшие элементы? Его «Днев-

ник» — предел для него, и с этой стороны он представляет громадный интерес. Его тяга к смерти, к небытию, его азиатчина; погоня за популярностью, гласностью, принимаемая им за любовь к славе; его нелюбознательность; избранные им боги. Но превыше всего возмущает меня жеманность, дряблая красивость некоторых его фраз, на которых почиет дух Мими Пенсон...

Нахожу на столе пришедшее в мое отсутствие приложение к «Нувель журне»: «От Ренана к Жаку Ривьеру» («Дилетантизм и аморализм»).

Эти книги — из того же теста, что и Массис: так же рьяно восстают они против всего некаатолического. Но вот что я там вычитал: «Не настало ли время, открыв в последний раз замечательную поэму „Фауст“, прокомментированную Ренаном, поразмыслить над скрытым в ней уроком?».

А Массис писал мне в письме, полученном месяц тому назад в Рокбрэне:

«Книгу Барбэ д'Оревиля о Гёте я прочел много лет назад; удовлетворяя ваше любопытство, должен признаться, что нахожу его суждения великолепными и целиком под ними подписываюсь. Бенжамен Констан, с присущей ему пронизательностью, сказал то же самое; он назвал Гёте неостроумным Вольтером».

Дальше следовали две страницы, исписанные красивым почерком; но тон их совсем не тот, каким Массис всегда со мной говорил и который, кстати сказать, не производил на меня никакого впечатления. Что же ему ответить? Сказать: «Любезный Массис, вы написали бы мне совсем иначе, знай вы, как я отличаюсь от того, каким... знай вы, что самый тон ваш, прежде всего, слишком подозрителен, чтобы меня взволновать»... Нет! Какой смысл? Мы не можем столкнуться, и не сталкиваемся. Но все же мне очень хотелось послать ему отрывок из кардинала Ньюмана, процитированный Гриерсоном:

«Мы можем испытывать величайшее отвращение к Мильтону и Гиббону, как к личностям, можем решительно отвергать, тенденцию, проскальзывающую на каждой странице их писаний, — дух, вечно в них живущий; но они таковы, и мы не можем отсечь их от английской литературы, с которой они неразрывно связаны; не можем отрицать их могущества; не можем заменить их произведениями другими; не можем даже очистить их творчество от того, что должно быть оттуда изгнано. Оба они — великие английские писатели, каждый по-своему ненавидел католическую церковь: оба они — создания божии, гордые и строптивые; оба исключительно даровиты. Мы должны принимать вещи такими, каковы они есть, или вовсе их не принимать».

Но в обычаях Массиса и иже с ним — отрицать всякую ценность за теми, кого они не могут к себе приблизить, и приближать к себе тех, чью ценность они не в состоянии отрицать, заранее решив, что все добропрекрасное обязательно, по долгу службы является католическим.

Из любопытства отыскал в «Дневнике» Бенжамена Констан места, относящиеся к Гёте. Некоторые из них, посвященные первым встречам, по правде сказать, довольно непочтительны, во вкусе Массиса. Но затем откапываю:

«Он полон ума, остроумия, глубины, новых идей».

«Я не знаю в целом мире человека, который был бы так же умен и обладал такой же тонкостью, силой и разносторонностью, как Гёте».

«Гёте — мировой ум и, может быть, пока единственный в мире гений такого неопределенного жанра, как поэзия, где все и всегда только неоконченные наброски».

И наконец, в письме к графине де Нассау от 21 января 1804 года:

«Гёте и Виланд... Это — люди необычайного ума, особенно Гёте».

Совесь вместо добросовестности.

Последние дни сдружился с Попом. В «Критических опытах» читаю: «Эти издревле известные, нехитрые правила — сама природа, неподвижная, но упорядоченная. Природа свободна, но обуздана, однако, своими собственными, раз и навсегда установленными законами».

Отлично, лучше не скажешь (столь разумная истина и так разумно высказанная)... Ничего — более антипоэтического (но это не важно).

В полном восторге от «Послания Элоизы к Абелару» Попа. Мое уважение к нему растет по мере того, как я с ним знакоюсь, и почему не сознаться, что его поэзия, перегруженная содержанием, волнует меня теперь несравненно сильнее, чем мутные извращения какого-нибудь Шелли, который заставляет меня где-то витать, оставив неудовлетворенной слишком важную часть моего «я».

Мориак. Этюды о Мольере и Руссо.

Скорей искусны, чем справедливы.

Тяжесть Истины портит чувствительную пружину весов.

Всюду и всегда он находит то, чего искал, и только то, что хотел найти.

«Ты не искал бы меня, если бы уже не нашел», т. е. «Ты бы не нашел меня там, если бы ты меня туда не поместил».

Французская литература гораздо более старается признавать и изображать человечество вообще, чем человека в частности. Ах, если бы Бэкона взамен Декарта! Но картезианство не было обеспокоено мыслью «У каждого свой нрав», и в конечном счете у него было мало любознательности. Так называемые чистые науки предпочитались наукам естественным. Бюффон — и тот плохой наблюдатель.

Мысль о том, что надо идти от простого к сложному, что можно строить выводы дедуктивно; обманчивая

вера в то, что созданное умом равноценно многосложности природы; что конкретное можно вывести из абстрактного...

Лансон в прекрасной работе о влиянии картезианства приводит удивительное признание Монтегье:

«Я видел, как частные случаи, словно сами собой, совпадали с предложенными мной законами... Когда я раскрыл эти законы, все, что я искал, предстало передо мной». Значит, он искал лишь то, что было заранее им найдено. Потрясающая ограниченность. А наряду с этим — восхижительная фраза Клода Бернара, не помню где мною записанная; поэтому привожу ее заведомо неточно, расширяя ее смысл: «Исследователь должен гнаться за искомым, не забывая следить за тем, чего он не ищет; то, что он увидит неожиданно, не должно захватить его врасплох». Но картезианец не допускает возможности быть захваченным врасплох. Иначе говоря, он не допускает для себя возможности чему-нибудь научиться.

Из письма М. Ар.:

«Вчера вечером прочел в „Горе“ Мишле: „они хохочут над Ксерксом, влюбленным в платан“, четверть часа спустя — У Дона „ Ксеркса странная лидийская любовь — платан“».

«Это тем более любопытно, — добавляет М. Ар., — что в тексте Геродота нет и намека на любовь».

А с другой стороны, Мишле не мог знать Дона. Где же источник, откуда оба черпали?

Чванливость всегда сочетается с глупостью. Многие плохие писатели современности потому самодовольны, что они не способны понять всего, что выше их, оценить по заслугам великих писателей прошлого.

Не считаться с самим собой в течение дней, недель, месяцев. Потерять себя из виду. Идти туннелем в надежде

увидеть за ним неизведанную страну. Боюсь, как бы слишком долгая работа сознания не связала чересчур логично будущее с прошлым, не помешала бы прошлому стать будущим. Превращения возможны только ночью, во сне; не заснув в куколке, гусеница не проснется мотыльком.

Мне важно не самому попасть в рай, а привести другого. Невыносимо то счастье, которым не с кем поделиться...

А что тогда сказать о счастье, обретенном за счет другого?

Торная дорога, конечно, всегда надежней. Но много дичи на ней не спугнешь.

Это Баррес завел такую моду. Его потребность всюду, без конца отыскивать назидание, «урок» — мне просто невыносима. Положение вассала, принижающее дух. Мы учимся у великих мастеров только тогда, когда они погружают нас в нечто вроде любовного экстаза. Те, что всюду ищут выгоды, подобны проституткам, которые, прежде чем отдаться, спрашивают: «Сколько заплатишь?».

Я хочу ощутить аромат каждого цветка, словно это лето для меня — последнее.

Рыбы, умирая, переворачиваются брюхом вверх и всплывают на поверхность: таков их способ падать.

Больше всего я ненавижу перевранные цитаты. Так можно заставить писателя сказать все, что угодно. Максанс, взваливая на меня ответственность за анекдот из «Фальшивомонетчиков» (который он, кстати, полностью извращает, сказав: «Мне рассказал этот анекдот один русский писатель», — не значит ли это, что он не читал книги и что его мнение основывается на слухах?), напоминает мне Ломброзо, который по «Неумелому стекольщику» Бодлера заключил о жестокости поэта: не заставляя ли Бодлер стекольщиков, — говорит Ломброзо, — подни-

маться на его мансарду, чтобы тут же выгнать их вон, расколотив вдребезги их товар за то, что у них не было розовых стекол?

Но из его заявления я привожу следующее:

«Ницше — враг мой, трогательный для меня тем, что даже в его отказе чувствуется страдание». Да, это верно; и то же самое — С.: они упрекают меня в безмятежности. Счастье, достигнутое не их путем, кажется им величайшим преступлением или, по меньшей мере, величайшей духовной скудостью.

Эм и m-II Z. говорят о больницах, о безобразных тамошних злоупотреблениях, о скверной кормежке больных, о беззакониях, кумовстве и шантаже, которому подчас подвергаются несчастные больные со стороны сиделок. Однако раскрыть эти преступления значит — сыграть на руку «левым». И об этом помалкивают. И когда встречаешь в народе ужас перед больницей, он кажется — увы! — больше чем справедливым.

Помню, однажды я захотел навестить свою племянницу незадолго до ее конца, нанял авто.

— На улицу Буало, в лечебницу, — приказал я шоферу.

Тот спрашивает:

— Какой номер?

— Не знаю. Вы сами должны знать. Это — частная лечебница.

Тогда, повернувшись ко мне, он сказал, и в голосе его слышалось все: ненависть, презрение, насмешка, горечь.

— Мы знаем только Ларибуазьер.

Это невинное слово, произнесенное по-деревенски, нараспев, прозвучало похоронным звоном.

— Да полно, — ответил я ему, — сдохнуть везде одинаково можно: что в частной больнице, что в государственной...